



**Н. Н. ПУНИН**

**Письмо А. А. Ахматовой**

*14 апреля 42  
Самарканд, больница*

Здравствуйте, Аня.

Бесконечно благодарен за Ваше внимание и растроган; и это не заслужено. Все еще в больнице не столько потому что болен, сколько оттого, что здесь лучше, чем на воле... Есть мягкая кровать и кормят, хотя и неважно, но даром. И спокойно. Я еще не вполне окреп, но все же чувствую себя живым и так радуюсь солнечным дням и тихо развивающейся весне. Смотрю и думаю: я живой. Сознание, что я остался живым, приводит меня в восторженное состояние, и я называю это — чувством счастья. Впрочем, когда я умирал, то есть знал, что я непременно умру — это было на Петровском острове у Голубевых, куда на время переселился, потому что там, как мне казалось, единственная в Ленинграде теплая комната — я тоже чувствовал этот восторг и счастье. Тогда я думал о Вас много. Думал, потому что в том напряжении души, которое я тогда испытывал, было нечто — как я уже писал Вам в записочке — похожее на чувство, жившее во мне в 20-х годах, когда я был с Вами. Мне кажется, я в первый раз так всеобъемлюще и широко понял Вас — именно потому, что это было совершенно бескорыстно, так как увидеть Вас когда-нибудь я, конечно, не рассчитывал, это было действительно предсмертное с Вами свидание и прощание. И мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и потому совершенна, как Ваша; от первых детских стихов (перчатка с левой руки) до пророческого бормотания и вместе с тем гула поэмы. Я тогда думал, что эта жизнь цельна не волей — и это мне казалось

особенно ценным — а той органичностью, т. е. неизбежностью, которая от Вас как будто совсем не зависит. Теперь этого не написать, т. е. всего того, что я тогда думал, но многое из того, что я не оправдывал в Вас, встало передо мной не только оправданным, но и, пожалуй, наиболее прекрасным. Вы знаете, многие осуждают Вас за Леву, но тогда мне было так ясно, что Вы сделали мудро и, безусловно, лучшее из того, что могли выбрать (я говорю о Бежецке), и Лева не был бы тем, что он есть, не будь у него бежецкого детства. Я и о Леве тогда много думал, но об этом как-нибудь в другой раз — я виноват перед ним.

В Вашей жизни есть крепость, как будто она высечена в камне и одним приемом очень опытной руки. Все это, я помню, наполнило меня тогда радостью и каким-то совсем не обычным, не сентиментальным умилением, созерцательным, словно я стоял перед входом в Рай (вообще тогда много было от «Божественной Комедии»). И радовался я не столько за Вас, сколько за Мироздание, потому что от всего этого я почувствовал, что нет личного бессмертия, а есть бессмертное. Это чувство было особенно сильным. Умирать было не страшно, и я не имел никаких претензий персонально жить или сохраниться после смерти. Почему-то я совсем не был в этом заинтересован; но что есть Бессмертное и я в нем окажусь — это было так прекрасно и так торжественно. Вы казались мне тогда — и сейчас тоже — высшим выражением Бессмертного, какое я только встречал в жизни. В больнице мне удалось перечитать «Бесов». Достоевский, как всегда, мне тяжел и совсем не для меня, но в конце романа, как золотая заря среди страшного и неправдоподобного мрака, такие слова: «Одна уже всегдашняя мысль о том, что существует нечто безмерно справедливейшее и счастливейшее, чем я, уже наполняет и меня всего безмерным умилением и — славой, — о, кто бы ни был, что бы ни сделал, человеку гораздо необходимее собственного счастья знать и каждое мгновение верить в то, что есть где-то уже совершенное и спокойное счастье для всех и для всего» и т. д. Эти слова почти совершенное выражение того, что я тогда чувствовал. Именно — «и славой» — именно «спокойное счастье». Вы и были тогда выражением «спокойного счастья славы». Умирая, я к нему приближался.

Но я остался жить и сохранил само то чувство и память о нем. Я так боюсь его теперь потерять и забыть и делаю усилия, чтобы этого не случилось со мной в жизни: Вы знаете, как я легкомысленно, не делая никаких усилий, даже скорее с вызо-

вом судьбе, терял лучшее, что она, судьба, мне давала. Солнце, которое я так люблю после ледяного ленинградского ада, поддерживает меня и мне легко беречь перед этой солнечной славой это чувство бессмертного. И я счастлив.

Мне хорошо здесь, и в больнице хорошо, рука почти зажила — Вы видите, я пишу своим почерком — правда, много забот, как устроиться, как прокормиться, но они не поглощают меня так, как это было раньше. И мне не жаль брошенного, кроме некоторых вещей, которые я просто из-за спешки забыл взять.

В вагоне, когда я заболел, мне почему-то вспомнился Хлебников, и я воспринял его, как самый чистый голос моего времени, по отношению к которому Маяковский что-то одностороннее, частный случай. Вы — не частный случай, но почему-то я не мог соотнести Вас с Хлебниковым, и это до сих пор мне не понятно.

Подъезжая к Ташкенту, я не надеялся Вас видеть и обрадовался до слез, когда Вы пришли, и еще больше, когда узнал, что на другой день Вы снова были на вокзале...

